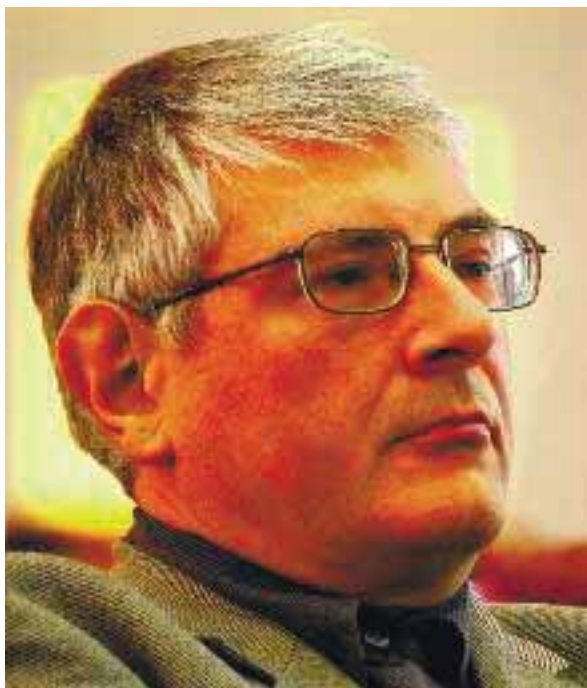




Александр Фридрихович

Филиппов — доктор социологических наук, руководитель Центра фундаментальной социологии Национального Исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)

Новое рождение политического из деполитизированного: кризис полицейского управления и множественные солидарности

Что-то неладное — *говорят все* — носится в воздухе, что-то мешает нам довериться сложившемуся укладу. Это удивительное чувство: опыт прошедшего десятилетия должен был бы приучить нас к тому, что много раз предсказанные по разным поводам социальные катастрофы не происходят, а раз так, то и сейчас менее всего следовало бы ожидать — хотя бы в ближайшем будущем — собственно катастрофического развития. Не то чтобы всё хорошо — кто решится сказать это, — но вот катастрофы ли нам грозят, катастроф ли должны мы опасаться? Предсказания катастроф предполагают обрушения больших конструкций, но тягостное чувство *неладного* вырастает в череде мелких событий повседневности, лишь отчасти являющихся событиями нашего собст-

венного опыта, по преимуществу же — из событий медиа-среды, *сообщений и новостей*, а также повсеместно распространённых мнений, усиливающих друг друга опознанием единодушия. Казалось бы, единодушному беспокойству одних должно противостоять не менее единодушное спокойствие других, тех, которые не просто не верят предсказателям катастроф, но и видят будущее иным, лучшим. Но не так уж трудно обнаружить, что нет в наши дни ничего более редкого, чем сильная консервативная позиция, потому что консервировать нам собственно нечего.

Это само по себе не так уж страшно. Ведь консерватизм, как известно, бывает двух родов — *удерживающий* и *восстанавливающий*. Удерживающий консерватизм, тот, что пишет на своем знамени завораживающее од-

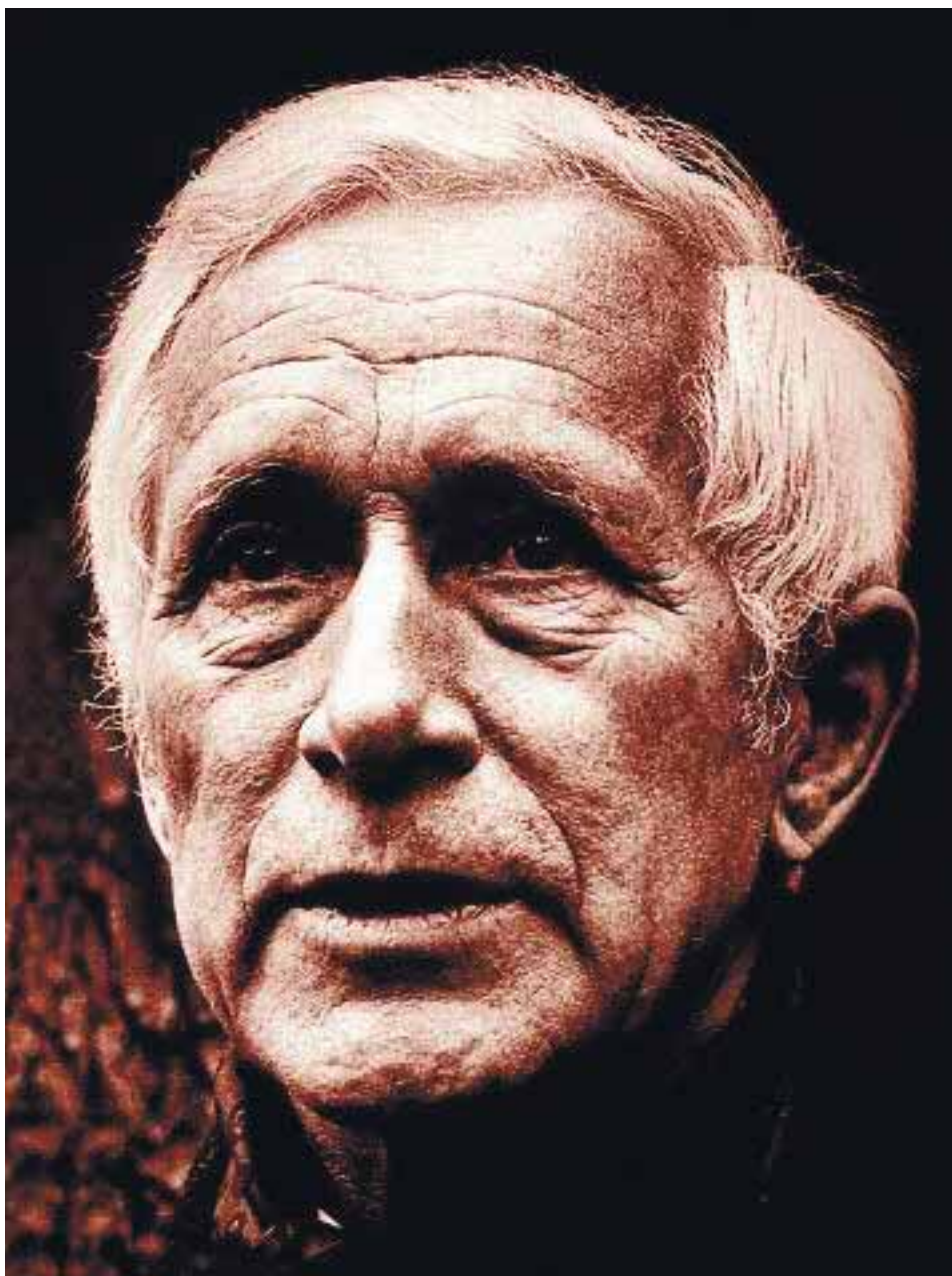
них и ненавистное другим слово «стабильность», отнюдь не сводится к сохранению в неизменном виде того, что всегда — или издавна — существовало. Сохранение, говорил знаменитый консерватор Ханс Фрайер, предполагает постоянное изменение. Надо меняться в ответ на вызовы, чтобы сохранить то, что требуется сохранить. Вопрос лишь в том, *что именно* сохранять, и на него-то ответить всего труднее. Повторим ещё раз: ложно то представление о консерватизме (будь то со стороны оппонентов, критиков или исследователей консерватизма, будь то со стороны самих консерваторов), согласно которому некое «всё», так или иначе устроенное, столь хорошо, что его надо спасти и сохранить. Разве что немного, если на то есть резоны, улучшить и подновить. Такой консерватизм был когда-то, но это давнее прошлое консерватизма, и на смену ему приходили другие варианты консерватизма охранительного и — не забудем также о них — варианты консерватизма радикального. Радикальный, восстановительный консерватизм предполагает, что всё нарушено, так что надо не столько сберегать наличное состояние, сколько вернуться к предшествующему, тому, что было не испорчено, целно. Отсюда — известная формула *restitutio in integrum* — восстановление в первоначальном неповрежденном виде. Для того чтобы вернуться, необходимо расчистить поле, и преобразование существующего должно быть столь радикальным, что старый порядок оказывается новым, наново создаваемым порядком. Радикальный консерватизм говорит о настоящем: «Мы живём, — слова Эрнста Юнгера в 1932 году, — в атмосфере болота, очистить которую могут лишь взрывы». Это столь поучительно: пом-



Консерватизм, как известно, бывает двух родов — удерживающий и восстанавливающий. Удерживающий консерватизм не сводится к сохранению в неизменном виде того, что всегда — или издавна — существовало. Сохранение, говорил знаменитый консерватор Ханс Фрайер, предполагает постоянное изменение. Надо меняться в ответ на вызовы, чтобы сохранить то, что требуется сохранить.

нить и сами слова, и последовавшие взрывы, и ту атмосферу, что установилась вместо *болотной*. Но вернемся к охранительному консерватизму. Воспроизводство того, что уже есть и было прежде, может происходить, мы это знаем, как череда ответов на вызовы

— но что это за вызовы? Идет ли речь о предотвращении меньшего зла, о постоянном решении задач, неминуемо новых и новых в изменчивом мире, или о предвидении и стремлении предотвратить катастрофу — не катастрофу охраняемого порядка, но ката-



Радикальный консерватизм говорит о настоящем: «Мы живём, — слова Эрнста Юнгера в 1932 году, — в атмосфере болота, очистить которую могут лишь взрывы». Это столь поучительно: помнить и сами слова, и последовавшие взрывы, и ту атмосферу, что установилась вместо болотной.

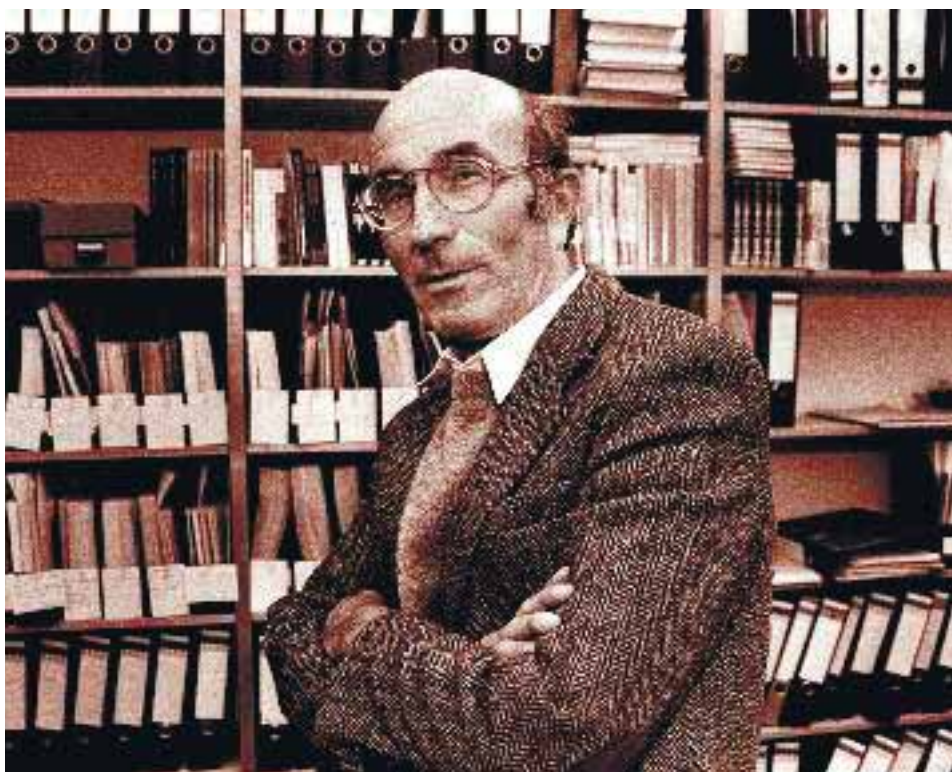
строфу той среды, в которой он, этот порядок, только и мог существовать? Несколько раз на протяжении минувшего века Сергей Булгаков, Карл Шмитт, Ханс Фрайер, да и не они одни вспоминали в связи с этим фигуру «удерживающего», *катехона* из 2-го Послания апостола Павла Фессалоникийцам. Тайна беззакон-

ия уже в действии, но не свершится, покуда есть «удерживающий», *катехон*, говорит Павел, и попытки идентифицировать *катехон* — указать прямо: вот он! — предпринимаются всякий раз, когда кажется, что *время близко*. Кто только ни цитирует Послание Павла в наши дни! Политическая теология стала актуаль-

ным интеллектуальным проектом, но дело не только в этом. *Удержание, задерживание* — это даже и для тех, кто не ведаёт ни истории происхождения, ни тем паче истории употребления слова *катехон*, — есть выражения ужаса, предощущения не одного только действия, но именно что торжества беззакония — на плоском социологическом языке именуемого *аномией*. Аномия в социальной жизни означает собственно спутанность социальных норм, отсутствие внятного нормативного порядка и — что не менее важно — отсутствие внятного строя, упорядоченности в самих отношениях людей, в том, чего требуют от них те или иные нормы, принятые в сообществах, и самые простые соображения выживания, продвижения, достижения признанного и желанного успеха. Так, неравенство есть всегда и везде, но лишь общее (обращенное ко всем без исключения) нормативное требование добиваться успеха (притом что успех любого рода всегда распределяется неравномерно) может сделать ситуацию аномической. Проповедь умеренности будет иметь лишь ограниченный успех в среде голодных, но в сочетании с демонстративным потреблением богатей и знати она эффективна лишь при нормативном одобрении некоторого совокупного миропорядка, где место и образ жизни каждого по-своему оправдан. Разрушение строя норм — это разрушение порядка ожиданий и оправданий, так что ожидаемые (привычные) действия и события лишаются ценности, тогда как новое, неожиданное, выбивающееся и выбивающее из колеи внезапно оказывается также и легитимированным, одобренным и ценным. С ненавистью смотрит, например, классический мелкий буржуа на удачливого биржевого спе-

кулянта, но невыносимо для него не чужое богатство и даже не публичное одобрение спекуляций, но объявление нувориша любимцем богов — тех самых, которые доселе гарантировали моральный и фактический порядок скромного преуспеяния *маленького человека*. Обрушение основ оправдания мира и слом порядка ожиданий — вот она, *социологически* понимаемая «тайна беззакония в действии», — и сколько уже раз ожидание окончательной катастрофы оборачивалось всего только повторением одного и того же! Редуцированный к характеристикам социальной проблематики и политической пертурбации тезис христианской эсхатологии — не слишком ли мелко? — но и разоблачение теологического характера социальных описаний — не слишком ли глубоко? Можно ли найти меру точности и меру глубины — чтобы не заменить понимание фундаментального аналитикой актуального, но и не потерять нерв живой жизни в прорицаниях конца времён, дающихся в наши дни что-то уж слишком легко?

Мы не станем исследовать здесь этот вопрос — предмет тонких богословских и политических споров. Однако, даже и не ступая на столь зыбкую почву, мы можем установить, по меньшей мере, два формально различных понимания «удерживающего». В одном случае *катехон* удерживает данное, утверждая ценность того, что есть, и — тем самым — свою ценность как хранителя. Пребывающее, таким образом, следует сохранять, потому что у него есть достоинство, превышающее простую фактичность. Кто в этом смысле хранит существующее, тот не хочет нового начала — ни абсолютно нового, ни нового как реституции старого. Не станем обо-



В наши дни утратили почти всякий смысл слова «консерватизм» и «прогрессизм» (ещё лет тридцать назад в этом пытался убедить своих читателей Никлас Луман). Прогрессизм незаметно исчерпал сам себя, он ушел из актуальной повестки дня.

льшаться словами «фактичность» и «пребывающее»: где один из нас говорит об опознании существующего как такового, там другой скажет о приписывании действительности тому, что действительности не имеет. Это сразу наводит на мысль об относительности всех различений и спорности всех очевидностей.

Но «удерживающий» может быть понят иначе — как тот, кто не хочет не столько нового начала, сколько того, чтобы перед новым началом торжествовала «тайна беззакония». Скажем иначе: может быть и такой «удерживающий», который хочет радикального обновления, но без катастрофы, который вожделеет нового порядка, но не даёт ниспровергнуть старый. Таких — едва не срывающихся в отчаяние, но всё же умеренных — консерваторов знают все поворотные времена. Спорно ли положе-

ние такого консерватора? Нет, оно не спорно, оно ужасно, потому что старается он удерживать не действительное, а недействительное, прикидывающееся сущим, но подлинно исчерпавшее себя. Возможно ли то, что мнится возможным? Исчерпаны ли возможности сохранить существующее или оно может быть сохранено лишь посредством деяния, так что *недеяние* (которое, напомним, Макс Вебер называл одним из видов человеческого действия) должно быть *вменено* как вина тому, кто — это устанавливают обычно задним числом — мог бы, но не стал действовать?

Правда, в наши дни утратили почти всякий смысл слова «консерватизм» и «прогрессизм» (ещё лет тридцать назад в этом пытался убедить своих читателей Никлас Луман). Прогрессизм незаметно исчерпал сам себя, он ушел из



Образ крепости, твердыни – вот что присутствует во множестве рассуждений о русской современности. Крепость – то, что занимает свое, исключительное, как сказал бы Георг Зиммель, место в пространстве. Но эстетика крепости не только не позволяет обдумать характер современной силы, но и поставить вопрос о том, что же именно сохраняем мы как своё место в пространстве.

актуальной повестки дня. Необходимость изменений, улучшения существующего положения дел, совершенствования — где нужно и можно — техники (как материальной техники, так и техники решения проблем) и т.п. можно признавать, не становясь прогрессистом и не разделяя веры

в прогресс, ценностью. По той же причине бессмысленно говорить в общем виде о модернизации, если только речь не идет о приведении в более пригодный вид того, что устарело, неэффективно, отстало от века. У модернизации науки, образования, права, экономики есть свои содержа-

тельные резоны, но нет универсального критерия — Модерна с большой буквы, соответствие которому есть ценность и цель. Консервация, то есть сохранение и сбережение, могут казаться в этом отношении (тем, кто видит ценность именно в них) делом, несравненно более насущным. Консерватизм стал модным, но тем более важно понимать, что сама идея сохранения и сбережения ничуть не менее проблематична, чем идея модерна или прогресса. Она точно так же может выступить блокиратором познавательной активности и требует не меньшей, если не большей осторожности.

Можно назвать два главных порока множества текстов, так или иначе трактующих наши проблемы.

Первый. Явная приверженность модерну или консервации блокирует движение познания и достижение взаимопонимания.

Второй. Интерпретация индивидуального и коллективного опыта (говорящего нам лишь об отдельных событиях или рядах событий) как *тотальных конструкций*, идеи которых связаны с традиционными представлениями о социальной жизни как большой вещи. Во множестве описаний опыта мы словно бы видим встающую за ним огромную вещь, *Россию*, и говорим о ее устройстве и ее неполадках так, как говорили бы об огромном, плохо устроенном и грозящем вот-вот поломаться механизме. Этот взгляд на события как «явления вещи» — совсем не бессмысленный, — но все же неправильный, устаревший и непродуктивный. Он сопрягает воедино новые проблемы и старые образы единства, силы и достоинства и заставляет нас растрачивать силы на то, что, по сути, никак не продвигает вперед. Я позволю себе отступление в этом

месте, чтобы сделать дальнейшие рассуждения более внятными.

Пленителен бывает вид средневековых замков — не дворцов, но крепостей, задуманных как неприступные твердыни, оставшихся на долгие годы местами силы и славы. Прекрасное не просто *сопутствует* мощи, господство над территорией, важное некогда стратегически и экономически, не просто *становится* эстетическим объектом. Прекрасное здесь — вид, материальный образ силы. Роскошь дворцов и величие памятников на городских площадях равно суть символы царивших здесь богатства и мощи. Массивные здания банков, пароходств, вокзалов, подобно триумфальным аркам, в позднейшие эпохи тоже говорят о победах — подлинно бывших или хотя бы обещанных. Но крепость — не вокзал и не банк. Крепости не только символизировали красотой мощь и богатство, они были объективацией силы, они-то и были той самой силой, одолеть которую — современникам — казалось невозможным. Мы пленяемся *видом* силы, невольно — ибо силы здесь больше нет — подставляя одно вместо другого, опознавая красоту в эффективной — в свое время — системе контроля над территорией, обороны, вооружения и снабжения продовольствием. Но много ли нам, теперешним, проку в знании о том, что крепость так и не была покорена или взята лишь раз-другой благодаря искусству полководца, его коварству или удаче? Много ли нам проку в истории побед, оставивших по себе материальную память о силе в виде прекрасных строений, радующих глаз праздного туриста? Мы, повторюсь, видим прекрасное, но не видим стоявшей за ним, воплощённой в нём силы. Образы



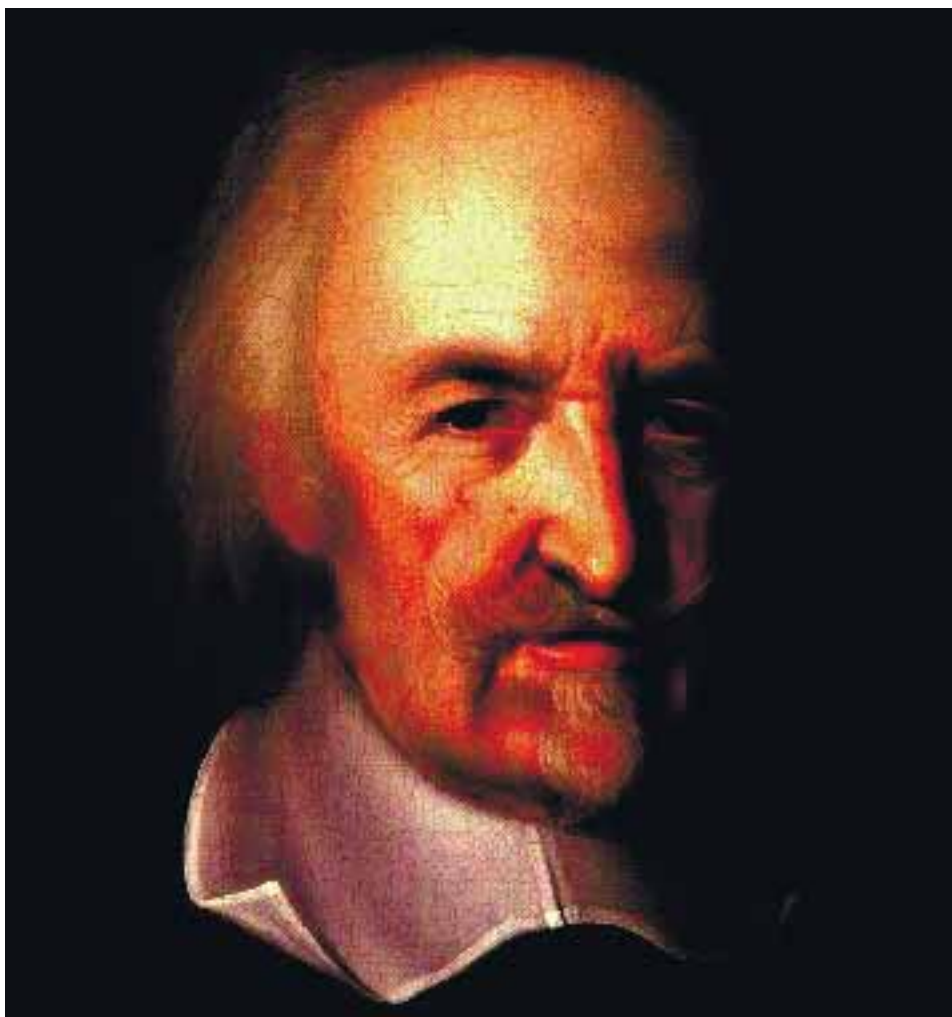
Отсутствие солидарности, разногласия мнений по самым важным вопросам, неэффективность управления и многое другое позволяют всякий раз сказать: да где же здесь государство? Но вспомним глубокое и пронизательное суждение Карла Шмитта: нормальное состояние не доказывает ничего, исключительное положение доказывает всё.

былой мощи мы созерцаем как эстетические объекты, но не задумываемся над тем, что для носителей *современного* оружия сокрушение этих твердынь не составляло бы того же труда, не было бы задачей той же сложности, что несколько веков назад.

Образ крепости, твердыни — вот что присутствует во множестве рассуждений о русской

современности, будь то в положительном или негативном смысле. Крепость — то, что занимает свое, исключительное, как сказал бы Георг Зиммель, место в пространстве. Крепость сильная, неприступная, внутренне гармоничная, соразмерная, простроенная вширь, ввысь и вглубь как цельное единство мощи и славы. — Но эстетика крепости —

Джон Райт. Томас Гоббс. До 1694



Государство обнаруживает на месте принципиальной готовности к солидарной мобилизации выжженную пустыню взаимного недоверия и вражды. Война всех против всех — не выдумка философов. Это столь же постоянно присутствующая в социальной жизни, как и солидарность, готовность радикально разъединяться и враждовать.

в том числе, заметим попутно, но отнюдь не случайным образом, — *крепости-монастыря*, не только не позволяет обдумать характер современной силы, но и поставить вопрос о том, что же именно сохраняем мы (или, если угодно, активно преобразуем) как своё место в пространстве.

Не забудем, однако же, что применительно к эстетическому созерцанию речь идет, в конечном счете, об удовольствии. Положим, иначе как с удовольствием, мы не можем созерцать крепость — хотя, как говорят ценители, бес-

примесному наслаждению мешает повторяемость конструкций. Но мы можем отмыслить от образа прекрасного — от прекрасного образа — идею неодолимой силы, идею прекрасной силы. Мы можем и мы должны. Потому что «крепость Россия», подобно «острову России», — это не просто выдумки праздных умов, но выражения глубоких интуиций, преодолеть которые вряд ли возможно, но отрефлексировать, представить не как естественные основания мышления, но как опции, по меньшей мере, желательно. По-

вторим еще раз: это предполагает известное насилие над собой, над своим чувством прекрасного. Но будем честны: это не более чем отказ от наслаждения, от того, что обещает наслаждение, это выбор в пользу аскезы мысли. Мы должны быть готовы мыслить истинное как безобразное — это утверждение Макса Вебера ещё не утратило силу. Прекрасна ли «твердыня Россия»? Возможно, прекрасна, и желающий оспорить это уж точно не найдёт общего языка с тем, кто отдаётся во власть наслаждения. Суждения вкуса имеют эту особенность, но вот что важно: крепость уязвима как крепость, в ней вся сила — лишь по мерке старого века, она сохраняется как раритет и рушится временем, если не силой иного рода, чем та, для обороны от которой её создавали. Действительность крепости — это мнимость, сохранение крепости — сохранение музейного экспоната, консервация — это не выбор в пользу того, что есть, а предание себя во власть фантазмов, гиперболически представляющих одну-две стороны былого там, где некогда действительно была сама жизнь, сохраняющая старое через порождение нового.

Что мы приобретаем, отказавшись от представления важной для нас действительности социальной и политической жизни в виде прочных материальных объектов (хотя бы даже и не крепостей)? Прежде всего мы можем перейти на другой язык описания и объяснения. Мы можем сказать, что ни одна из привычных характеристик нашей страны не верна, если представляет её как некоего рода большую вещь, но вместе с тем некоторые понятия обладают ограниченной пригодностью, если позволяют сосредоточиться не на тотальных, сквозных, всеобъемлю-

щих описаниях, но на *способах организации социальных событий, действий и взаимодействий людей.*

Одним из таких способов организации является современное *государство*. Несходство между собой политических образований, сосуществующих в настоящее время, бросается в глаза. И необходимость применить к любому из них один и тот же термин «государство» может вызвать обоснованные сомнения, но с точки зрения операций, организующих потоки социальных событий, государство есть универсальный, удивительный, уникальный способ концентрации в одном локусе двух совершенно несходных по природе и способу устройства регуляторов. С одной стороны, лишь современное государство — да и то не всякое (что означает, между прочим, следующее: не всякое государство заслуживает этого имени) — способно управиться с многообразными и сложными техническими средствами жизнеобеспечения на больших территориях. Сюда относятся и водоснабжение с канализацией, и валютные системы, и транспорт, и здравоохранение. С другой стороны, лишь государство — и опять-таки не всякое — способно быть регулятором мотивационной мобилизации и солидарности. Сюда относятся и образование, и религии, и все многообразные течения культуры. Именно современное государство умеет так управляться с ними, что, не превращая их в свои подразделения, обеспечивает через эти каналы тонкую настройку мотивационной сферы. Общий базис лояльности, солидарности, доверия к основам социальности остается нерушимым при самых тяжелых потрясениях. Это иногда называют гражданской религией, но дело, кажется, все-таки в том, что и



Когда привычный, самоочевидный мир, подобно самоочевидной солидарности, подобно самоочевидному функционированию систем жизнеобеспечения, переходит в разряд так называемого фонового исполнения, возникает доверие системе, защитный кокон, как называл его Энтони Гидденс.

гражданская религия, и религии в традиционном смысле, и самое иррелигиозное искусство, и светское образование по-разному служат созданию общей рамки солидарности. Это не солидарность на основании общих ценностей, институтов, верований и т.п., но гораздо более размытая и обычным образом почти не осязаемая готовность к актуализации состояния позитивной совместности. Иначе говоря, это готовность быть вместе, терпеть друг друга и нередко — когда понадобится — находить общее, притягиваю-

щее, то есть имеющее вид солидарности, какой привыкли понимать её теоретики прошлого века. Она словно бы спит, но она остается важнейшим ресурсом мобилизации — и разбудить её можно именно потому, что многое — если не всё необходимое — уже сделано заранее, только не прямо и не топорно.

Зримым образом единство государства выражается в суверенной политике и праве, и как раз поэтому вопрос о единстве перерастает в непримиримые споры. Дело в том, что социальная жизнь необык-



Историки американской полиции утверждают, что в XX веке полицейское вмешательство в экономику и социальную жизнь во времена Нового курса президента Франклина Рузвельта отчасти напоминает устройство тоталитарных режимов именно сочетанием репрессивности, социальных проектов и государственного управления экономикой.

новенно богата — а в проблемные времена и в неблагополучных странах особенно богата — примерами прямо противоположного свойства. Отсутствие солидарности, разногласия мнений по самым важным вопросам, неэффективность управления и многое другое позволяют всякий раз сказать: да где же здесь государство? О какой солидарности может идти речь, о каком единстве политики и права? Но вспомним глубокое и пронзительное суждение Карла Шмитта: нормальное состояние не доказывает ничего, исключительное положение доказывает всё. Правда, Шмитт говорил об этом, чтобы дать определение суверенитета и

суверена, но логика здесь та же самая. Если в критической — во всяком случае, выходящей за рамки обыденности — ситуации можно обнаружить солидарность, это не значит, что в остальное время её нет, просто она незаметна, не востребована. Однако бывает и так, что именно в критических ситуациях самоочевидность доверия, взаимопомощи и т.п. ставится под сомнение, её не оказывается там, где она должна быть. Государство обнаруживает на месте принципиальной готовности к солидарной мобилизации (хотя бы в форме соседской взаимопомощи) выжженную пустыню взаимного недоверия и вражды. Война всех против всех — не

выдумка философов. Это столь же постоянно присутствующая в социальной жизни, как и солидарность, готовность радикально раздвинуться и враждовать. Ни то ни другое не является самоочевидной, естественной предрасположенностью человека. Они создаются социальными силами, они управляются и направляются, так что любовь, подозрение, зависть, возмущение несправедливостью могут достигать степени подлинно политической вражды. Государство исторически возникает как способ преодоления вражды и поощрения не только «фоновой», но и актуальной солидарности, какие бы имена ни давались ей в разные эпохи. Солидарность возникает, развивается, поддерживается, конечно, не только благодаря усилиям государства. Распространена точка зрения, согласно которой, напротив, государство надстраивается на

складывающейся до и помимо него системе или сети солидарности. Но ресурсы, которые концентрирует и распределяет государство — прямо или через зависимых от него агентов, — работают на обеспечение солидарности в таких масштабах, которые, как правило, превосходят всё, что может предложить кто-либо ещё. Государство служит распространению чувства солидарности не на ближних только, но и на дальних, установлению критериев разделения между своими и чужими и т.п. Пестуя солидарность, государство усматривает в ней ресурс: многие задачи жизнеобеспечения невозможно решить, если война всех против всех становится интенсивной. Государство старается сделать привычной и переносимой систему неравенств, причем в этой системе неравенств особое положение властей предрешающих нуждается в легитимации. Историческая устойчивость, повторяемость устройств власти часто объясняют культурной традицией. Но культурная традиция могла бы умереть или преобразоваться, если бы не была поддержана всей мощью государства. Социальный критик, реформатор и революционер сталкиваются не только с господством мнений и привычек действия, которые они хотели бы изменить, но с работающей системой производства и воспроизводства фундамента этих мнений, то есть простраивания социальных событий таким образом, чтобы их логические конструкции не выходили за пределы насильственно устанавливаемых государством очевидностей. Государство хранит мир, но оно хранит такой гражданский мир, от которого оно само не может быть отмыслено. Разрушение государства, хранящего несправедливый мир, оборачивается войной,



Споры стали частью политического процесса. Неопределёвшихся, которых ещё приходится завоевывать содержательными соображениями, становится всё меньше, и вопрос о том, возможна ли ещё, говоря словами Карла Мангейма, «свободно парящая интеллигенция», сам уже является политическим вопросом.

которая может окончиться, но может и не окончиться другим — лучшим — миром. Обещание войны, угроза войной, поощрение нарушений гражданского мира — это один из

способов динамизации политики, придания энергии мотивационной составляющей социальной жизни, когда легитимность государства оказывается под угрозой. Притом что



Клод Лефор говорил о том, что политическое обнаруживается не в том, что мы называем политической деятельностью, но в «двойном движении», благодаря которому способ «учреждения общества» и становится явным, и скрывается.

привычный, самоочевидный мир, подобно самоочевидной солидарности, подобно самоочевидному функционированию систем жизнеобеспечения, переходит в разряд так называемого фонового исполнения: кажется одинаково невероятным, что соседи окажутся смертельными врагами, что продукты в одночасье исчезнут из магазинов и что национальная валюта в одночасье же обесценится. Когда ничего подобного не происходит долгое время, возникает доверие системе, защитный кокон, как называл его Энтони Гидденс. Фоновое исполнение, как считали немецкие консерваторы 60–70-х годов прошлого века, способствует обострению критической активности, которая направляется против государства, в целом неплохо устроенного. Это слишком узкая точка зрения. Фоновое исполнение в той или иной форме есть во всяком государстве, даже скверно устроенном. Лишь при катастрофических разрывах в фоновом исполнении (вроде природных и техногенных катастроф, биржевых кризисов и

т.п.) на государство обращаются обвинения в неспособности гарантировать жизнедеятельность населения. В остальном именно рутина, а не относительно более благополучное существование делает фоновое исполнение легитимирующим фактором.

Несколько лет назад политическая жизнь в нашей стране казалась надёжно замиренной. В ней не было *политического* в строгом смысле слова, и то, что политика у нас была редуцирована до придворных и кабинетных интриг, а на поверхности видимым образом допускались в основном лишь имитации политического, купалось идеей хорошо упорядоченного, надёжного, почти деидеологизированного правления и управления. В истории такие государства встречались неоднократно, к ним, с некоторыми натяжками, подходит изобретённый в XVIII веке термин «полицейское государство», понимаемое не только как государство угроз и репрессий, но более широко — как «социально-полицейское государство общего блага». Оно социальное — потому что

сохраняет ряд важнейших обязательств по расширенному (в сравнении с либеральным государством) обеспечению жизнедеятельности населения (социальные гарантии). Но как полицейское государство оно не допускает внутрь себя политику. Где есть полиция, там нет политики, говорил Карл Шмитт, точнее, политика выводится за границы государства, становится политикой почти исключительно внешней. Есть высшие политические органы, политические решения, политические интриги и кабинетная борьба. Но публично-политического почти нет — или оно носит имитационный характер. Полиция является не просто охраной от преступлений, но всеобщим способом управления, упорядочивания, распределения благ, сообразных позициям разных групп населения. Полицейское управление исходит из того, что как бы сложно ни было устроено общество, его можно научно изучить, определить основные цели и задачи по извлечению пользы из его экономики (часто сырьевой), определить специфику деятельности и функции отдельных групп населения. И позаботиться о том, чтобы все были, в конечном счете, гарантированы от беспорядка. Разумеется, это — только в теории, в идее. Само устройство полиции таково, что она легко превращается в свою противоположность.

Приведем несколько примеров. Современные исследователи истории классического полицейского государства во Франции (задуманного, как свидетельствует ещё знаменитая «Энциклопедия» Дидро и Д'Аламбера, для счастья всех подданных) охотно цитируют министра полиции, говорившего незадолго до революции 1789 года, что везде, где собираются трое, одним будет его



осведомитель. Процветала практика тотальной слежки и бессудных расправ, в то время как парижскую полицию восторженные путешественники называли одним из чудес света. Политическую катастрофу она, как мы знаем, предотвратить не помогла, а полицейские меры в тогдашней экономике тоже показали свою более чем ограниченную эффективность, и от них тоже пришлось отказаться.

История полиции в России — отдельная интересная тема. Начинается она — в строгом смысле — с попыток сначала Петра I, а затем Екатерины II перенять европейские, то есть французскую и немецкую, концепции полиции, но кончается всё тем, что русское полицейское государство становится не столько образцом справедливости и порядка, сколько символом неограниченного произвола. В русской политической науке начала

Полицейское государство — это государство рутины. Оно может стремиться к тому, чтобы подданные вели себя сообразно «добрым нравам». Если эти нравы уже есть, оно может более или менее эффективно способствовать их процветанию. Но насадить какие-то нравы заново, вопреки существующим такое государство не может и работает в этом смысле, как правило, неэффективно.

XX века говорят, что есть не только полиция безопасности, но и полиция благосостояния, и трактуют полицию как научно обоснованное управление — все это в период между двумя революциями, выглядящими насмешкой истории над идеями научного полицейского управления социальной жизнью. Впрочем, иногда все оборачивается к лучшему. Историки американской полиции утверждают, что в XX веке полицейское вмешательство в экономику и социальную жизнь во времена Нового курса президента Франклина Рузвельта отчасти

напоминает устройство тоталитарных режимов именно сочетанием репрессивности, социальных проектов и государственного управления экономикой. Новый курс принято считать эффективным, но что нам дает это сообщение вместе со всеми остальными? Приведенные примеры иллюстрируют одну важную особенность полиции — ее радикально антипроцессуальный характер. Полицейское управление, полицейская забота о жизни и здоровье граждан, полицейские репрессии и полицейское предупреждение преступности устроены таким об-



Анри Мотт. Кардинал Ришелье при осаде Ля Рошели. 1881

Полицейское государство в известной степени является наследником или трансформацией другого типа государства, который имеет точное, но не переводимое однозначно на русский язык название *raison d'État*. Это и «разум государства», и «государственный интерес», и «основания государственных действий».

разом, что с трудом функционируют во временных горизонтах, задаваемых *процедурами*. Где есть процедуры, правовые регуляции отдельных шагов, необходимых для принятия решений, там затруднена прямая связь между усмотрением существа дела, постановкой задачи и собственно действием. Действия полиции,

указывает, скажем, законодатель ФРГ, начинаются там, где урегулирование не происходит само собой, правовым способом. Но если полиции — по тем или иным причинам — отдается первенство, если оспорить *качество* усмотрения существа дела невозможно или почти невозможно, если решения и деяния следуют одно за

другим, не оставляя пространства для урегулирования дел иначе, как с участием полицейских сил, единственной гарантией того, что дело не обернется совершеннейшим произволом, являются *добрая воля* всех участвующих в полицейском управлении и добрые нравы тех, на которых оно направлено.

Эта гарантия, конечно, весьма слаба. На стороне управляемой способствовать полицейскому управлению могло бы воодушевленное и солидарное население, но уже давно было замечено, что полицейское управление меньше интересуется мнениями и качествами граждан, нежели, как называл это Гегель, внешней стороной дела. «Думайте что угодно, но подчиняйтесь», — говорит полиция, и за это пренебрежение мнениями дорого приходится платить полицейскому государству. Вот почему неудивительно, что полицейское государство изначально держится на насилии и что насилие это имеет целью так или иначе подавить политическое, замирить пространство конкуренции, а уже потом, в этом замиренном пространстве, осуществлять рутинные операции по контролю, воспитанию, формированию законопослушного подданного. И все-таки уничтожить политическое бывает трудно, оно по-разному прорывается на поверхность, казалось бы, деполитизированных ситуаций. У полицейского государства есть своя — в общем неблагоприятная — динамика, но помимо того, подавление политического не может не оказаться лишь частично и лишь временно успешным. Именно под этим углом зрения мы и должны оценивать то, что происходит у нас сейчас. Мы можем сказать, что преобладание враждебности над солидарностью — одно из самых тревожных явлений по-

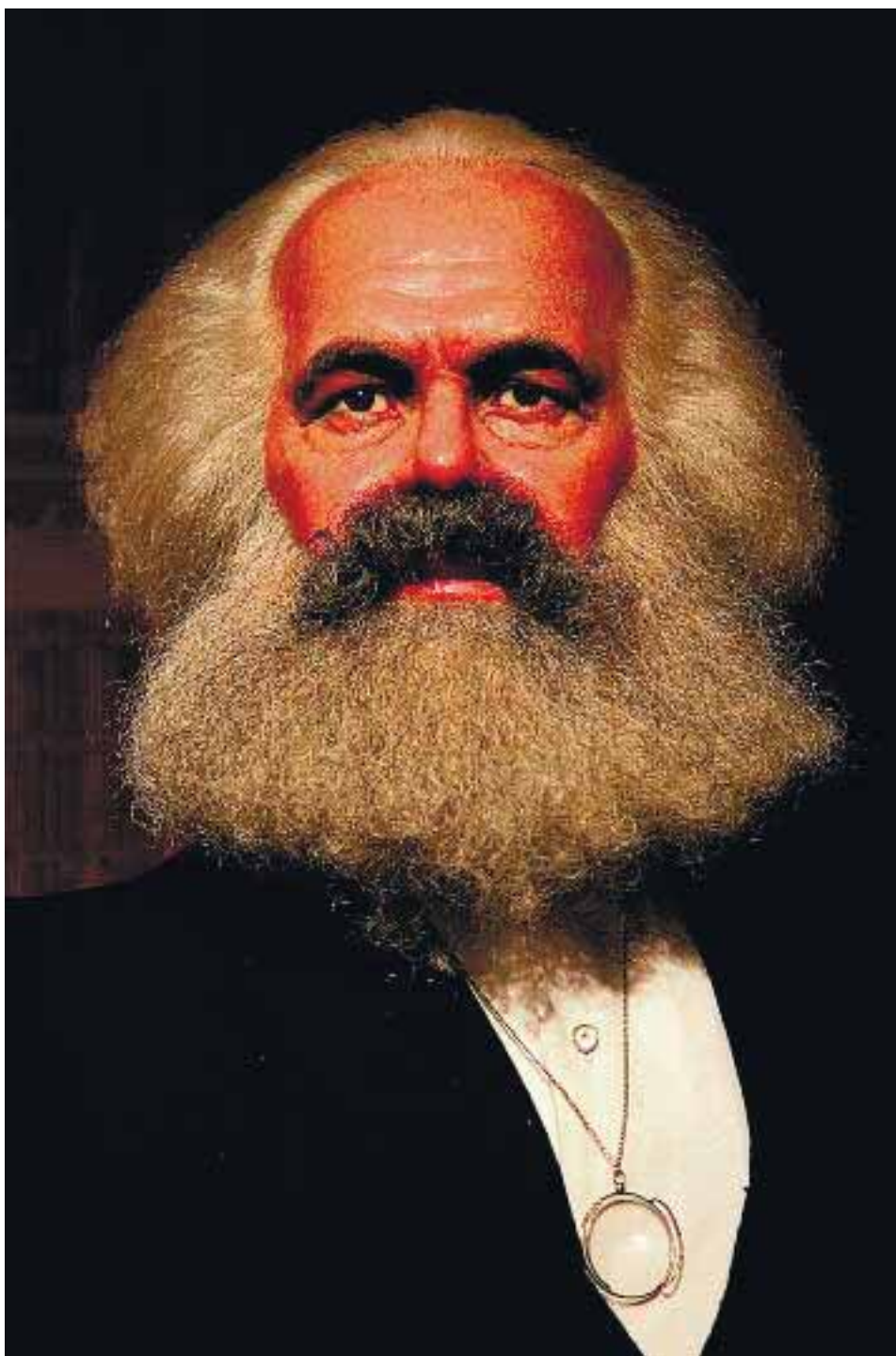
следнего времени. Речь идет совсем не о том, что гражданской солидарности больше не существует. Она есть, она развивается, ее временами становится больше. Однако последние годы, а в особенности месяцы показали существенное сокращение солидарности как располагаемого государством ресурса и приращение за её счёт враждебности опасных по интенсивности степеней. Простое возражение — если кто-то вознамерится оспорить эти утверждения — состояло бы в том, что примеров противоположного свойства всё-таки больше, что государство по-прежнему прочно, его легитимность неоспорима и мобилизационный ресурс не уменьшился. В том-то и беда современных дискуссий: все доводы такого рода перестали быть дискуссионными доводами, которые можно оспорить, поправить, принять частичную правоту оппонента и выставить на следующем этапе более продуманный аргумент. Споры стали частью политического процесса, и убедительность довода для сторонников определенной позиции означает лишь готовность идентифицировать себя с той группой, для которой эта позиция убедительна. Для противников тот же самый довод кажется неубедительным, и они столь же ангажированы и непреклонны. Неопределившихся, которых еще приходится завоевывать содержательными соображениями, становится всё меньше, и вопрос о том, возможна ли еще, говоря словами Карла Мангейма, «свободно парящая интеллигенция», сам уже является политическим вопросом. И всё-таки рискнем еще раз напомнить: ложно само представление государства как вещи, как машины, которая, грубо говоря, либо едет, либо нет, либо едет еле-еле и вот-вот сломается. Государство —

не вещь, а способ организации социальных событий. Это значит, что примеры и контрпримеры могут быть одинаково достоверными, что лишь количественный перевес событий одного рода над событиями другого рода может иметь смысл для общей характеристики ситуации и что в деле подсчёта событий все равно не будет единодушия. Оценивая любой пример, не забудем, что всегда есть *иное*, не вписывающееся в общее представление о ситуации, но всё равно важное, требующее внимания. Так, например, при валютной монополии бывает валютная спекуляция, при господстве идеологии — диссидентство, при самом эффективном полицейском контроле — преступность и политические движения. Насколько сильны эти политические движения, насколько удастся держать их под контролем — вот это и есть предмет споров, но нельзя сомневаться ни в том, что контроль силен, ни в том, что принципиально противоположная ему политизация нарастает.

Оживление политической жизни в России вряд ли прекратится в обозримом будущем. Это имеет серьезные последствия. Высвобождение политического оставляет сравнительно мало места для индивидуального решения. Впервые за несколько лет у нас появляются именно публичные политические группы, готовые к экзистенциальному противостоянию. Еще не столь враждебны их действия, ещё нет не то что признаков, но и предчувствия гражданской войны. Но уже есть дискурс ненависти, риторика «друг/враг». Политическое размежевание — и это ещё одна важная особенность, о которой следует помнить, — может развиваться из любой противоположности — религиозной, экономической и даже эстетической.

Поводы для размежевания могут быть любой природы. Но при этом само размежевание достигает такой степени интенсивности, что оппоненты или конкуренты становятся именно врагами и под углом зрения смертельной, экзистенциальной вражды видят всё остальное. Вражда приобретает собственную динамику, политическое подминает под себя всё и высасывает всю энергию из других областей жизни. Тогда государству грозит гражданская война и распад, если только не будет новой консолидации, если не появится новое единство «политического народа», противостоящего другим народам как врагам, но искоренившего вражду внутри себя.

Надо понимать, что этот путь — один из возможных, независимо от того, нравится он нам или нет. Но этот путь — крайний, экстремальный. Есть много причин, в силу которых это высшее напряжение политического единства не может быть долгим, а само единство — лишенным внутренних политических различий и противоречий. Тем не менее, повторю, это — предельный случай, когда политическое как бы выжигает само себя изнутри. Необходимо, однако, рассматривать и другие случаи. Казалось бы, самое естественное — взять за образец страны с нормальной политической жизнью, где легитимная власть, соперничество партий, устойчивый бюрократический аппарат, обеспечивающий техническую надёжность исполнения многих функций государства при смене власти, и т.п. Но что даёт нам ориентация на так понятый образец, даже если пренебречь различиями между странами и их политическими системами? Уже довольно давно — и вполне резонно — Клод Лефор говорил о том, что политическое обнаруживается не в том, что мы называем политической

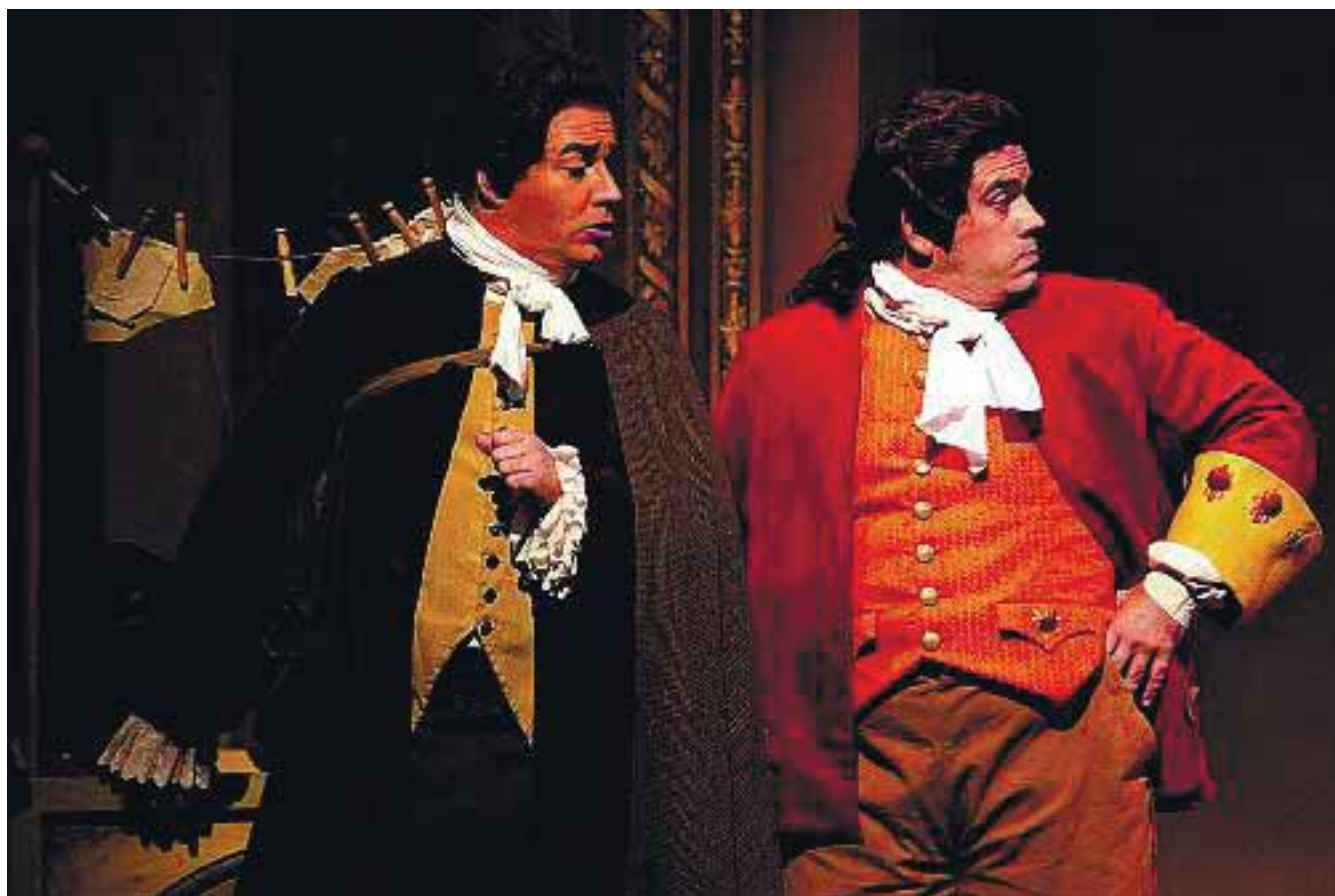


В разных странах дела складываются по-разному, но в общем ничего удивительного нет в том, что богатые, знатные, наглые умудряются переключить на себя аппарат, в том числе и аппарат полицейский. Государство – это хорошо уже видел в Германии своего времени Карл Маркс – оказывается не «всеобщим», но стороной конфликта интересов, той же самой стороной, что богачи и знать.

деятельностью, но в «двойном движении», благодаря которому способ «учреждения обще-

ства» и становится явным, и скрывается. Если переформулировать его слова в более общем

виде, можно сказать, что нас интересует принцип членения и оформления тех участников политического, которые так или иначе относятся к одному и тому же социальному единству. Именно внутри этого единства имеют значение их напряженные взаимные отношения. Именно здесь дело доходит или не доходит до подлинной политической вражды, именно здесь то, что лежит на поверхности, может с равным успехом оказаться и открывающим, и скрывающим суть дела. Политическое – это традиционно высшая ступень самоопределения человека. Чтобы совершать действия, за которые он может отвечать, человек должен выгородить себе пространство определенности, в котором каждый его поступок есть именно то, что он и намеревался сделать, и последствия поступка могут быть ему вменены. Но это также пространство, населенное иными людьми, и сделать его предсказуемым можно, либо превратив других людей в свои инструменты, рабов, либо установив вместе с ними согласие, учредив политическую общность. Где эта общность установлена словно бы раз и навсегда, там политическое исчезает. Где ее приходится переустанавливать и переучреждать постоянно, там даёт о себе знать человеческая свобода. Что сообщает неподвижное постоянство учрежденной общности? Сила, удерживающая её от распада. Но что сообщает силу силе? Это вопрос не только политической философии, но политической теологии, вопрос об оправдании того, что совершается в мире, в том числе и вопрос конечного оправдания высшей политической власти. Мотивационные энергии участников политического, почерпнутые через обращение к трансцендентным мирскому устройству нача-



лам (Богу или богам), могут не только укрепить, но и уничтожить существующий порядок. Таким образом, свобода, трансцендентное отнесение себя к политической общности (наличной, проектируемой или воображаемой в качестве исходной, изначальной) и только вслед за тем так называемые грубые интересы и рутина политического процесса являются источниками появления и проявления политического.

Значит, не в том дело, что государству в наши дни не вполне удаётся контроль и мобилизация: никогда не бывало так, чтобы нельзя было указать на неудачи и провалы. Дело даже не в грозящем наступить перевесе одних типов событий над другими. Дело в том, что полицейское государство (если угодно, полицейская составляющая государства), сколько можно судить, помимо того, что оно отчасти остается способом производства порядка,

само становится источником беспорядка, а это, в свою очередь, приводит его к утрате потенциала солидаризации и мобилизации, что может поставить под угрозу потенциал жизнеобеспечения. В деле жизнеобеспечения у государства нет функционального эквивалента, его нечем заменить, и значит, некоторая комбинация технического управления и социальной солидарности должна быть всегда. Множество чисто технических проблем невозможно решить, рассчитывая встретить на стороне подданных лишь лояльность и готовность к послушанию и обнаруживая на её месте недоверие буквально ко всему, что только предлагает правительство. Полицейское государство — это государство

рутины. Оно может стремиться к тому, чтобы подданные вели себя сообразно «добрым нравам». Если эти нравы уже есть, оно может более или менее эффективно способствовать их процветанию, подобно тому как оно заботится о здравоохранении и гигиене. Но насадить какие-то нравы заново, вопреки существующим таким государством не может и работает в этом смысле, как правило, неэффективно. Наибольшие же неудачи подстерегают его на пути частично производимой самим государством реполитизации социальной жизни.

Реполитизация деполитизированного — кажется, один из почти неизбежных вариантов развития и разложения полицейского государства. Дело в

**Граф (насмешливо). Суд не считается ни с чем, кроме закона...
Фигаро. Снисходительного к сильным, неумолимого к слабым.**

**Сцена из спектакля по пьесе Бомарше
«Безумный день, или Женитьба Фигаро»**

Франсиско Франко



Говорить о полной бесперспективности и изжитости вождизма было бы безответственно. Однако этот вариант предполагает высокую степень солидаризации народа, которому предлагается сильная идеология – не система идей, но мобилизующий миф. Сверх того потребуются высокая степень гомогенности населения – не как результат действий, а как их предпосылка.

том, что полицейское государство в известной степени является наследником или трансформацией другого типа государства, который имеет точное, но не переводимое однозначно на русский язык название *raison d'État*. Это и «разум государства», и «государственный интерес», и «основания государственных действий». Такая формула возник-

ла в ответ на отчаянную политическую борьбу XVI–XVII веков в Европе. Это был ответ на вопрос о том, почему одна из конфликтующих сил более права, нежели другая, почему кто-то может действовать скрытно, хитро, часто явно несправедливо, но в высшем смысле должен быть оправдан. — Здесь, говорили тогда, есть особые резоны, государст-

венный интерес, а не просто корысть того или иного принца. Кому предъявлялись такие резоны? Тем, которые были богаты, влиятельны, могли мобилизовать сторонников, могли своей храбростью и хитростью победить врагов. Но они не были оправданы в высшем смысле, за ними не было *raison d'État*. Вот эти храбрые, умные, сильные, независимые должны были уступить и отступить. И это могло быть в высшей степени по нраву другим (большинству), которые не могли и не хотели ни проникать в замыслы правителя, ни участвовать в политических конфликтах между сильными и наглыми грандами. Правда, это давало шанс жить подлинно политической жизнью свободного человека, зато полицейское государство, сформировавшееся как инструмент государства *raison d'État*, обещало мир и заботу. Это было столь заманчиво! Только вот обернулось все крахом управления и полицейским произволом. Парадигматический случай представлен в «Женитьбе Фигаро» — истории о том, как находчивый маргинал (которого лишь по недоразумению считают буржуа) отвоевал свое право у надутого вельможи. Действие происходит в Испании, но Испания выдуманная, Бомарше критикует современные ему порядки, при которых лишь хитрость и удача помогают простолыдину в борьбе с грандом. А ведь это время торжества полицейского государства во Франции! Так и есть: полицейское государство смогло победить политическую борьбу грандов между собой, смогло создать не временное, но устойчивое положение, при котором и богатые, и бедные простолыдины не *ad hoc*, но постоянно рассматривались как функционально необходимые составляющие государства, заботя-

щегося не только о своем интересе, но и об общем благе. Но полицейское государство не вовсе изживает грандов. В разных странах дела складываются по-разному, но в общем ничего удивительного нет в том, что богатые, знатные, наглые умудряются переключить на себя аппарат, в том числе и аппарат полицейский. Государство — это хорошо уже видел в Германии своего времени Карл Маркс — оказывается не «всеобщим», но стороной конфликта интересов, той же самой стороной, что богачи и знать.

По мере того как это становится все более явным и все менее терпимым, наступает реполитизация общественной жизни. Оправдание полиции тогда — суммируем это — становится сугубо техническим оправданием. Есть функциональное место, без исполнения функций наступит хаос, значит, надо сохранять государство порядка. Этот аргумент мы слышим и сейчас — это хороший, добротный аргумент, но это аргумент неновый, и действие его, мы помним, распространяется лишь на тех, кому и вовсе не нужны аргументы. Что же делает государство? Оно теряет единство целеполагания и взаимосвязи функционирующих средств организации событий. С одной стороны, вся экономическая логика современной жизни поужаает его к тому, чтобы перестать быть государством всеобщего блага, отказаться от социальных обязательств в отношении жизнедеятельности. С другой стороны, оно все больше походит на государство с вырождающейся полицией. Это сильно напоминает нам Бомарше:

Граф (насмешливо). Суд не считается ни с чем, кроме закона...

Фигаро. Снисходительного к сильным, неумолимого к слабым.

Оборотная сторона этого — прогрессирующее недоверие и anomia, а выход из ситуации — искусственное учреждение конфликтующих политических групп. Поскольку политическое, как мы видели, способно произрасти из любых различий, в сложно устроенном обществе можно усилить позиции власти как арбитра, если те или иные различия специально пестовать, доводить до конфликта, превращая соперничающие группы во врагов. Балансировать в этом положении получается даже и долго, но не бесконечно, а эффективная сама по себе стратегия терпит ущерб, по мере того как обнажается собственный интерес арбитров.

Это — главная беда, и никто не может сказать, есть ли выход из такого положения. Говоря объективно, преодолением его могло бы стать преобразование господства грандов, подчиняющих себе аппарат государства, и аппарата, конвертирующего свое положение охранителя и арбитра в положение такого же гордого гранда, в политические группы. Эти политические группы должны были бы не скрываться за всеобщим, но представить себя как группы интересов и внятно сформулировать не только собственные интересы, но и интересы примыкающей к ним солидарной общности. Это, конечно, означало бы превращение социальной жизни в поле битвы с неопределенным исходом, потому что тогда ничто уже не остановит оформление других солидарных групп — экономических, этнических, региональных. Это и была бы подлинная смерть государства — до появления и победы той силы, которая прекратит войну всех против всех и реализует общий интерес: мир. Есть ли другие возможности?

Разумеется. Прежде всего это попытка реализовать принцип вождя, защищающего право. Исторически вождизм дал результат в первой половине XX века, и в нескольких странах это продлилось на несколько десятилетий после завершения Второй мировой войны. Говорить о полной бесперспективности и изжитости такого варианта было бы безответственно. Но необходимо помнить, что он предполагает высокую степень солидаризации народа, которому предлагается сильная идеология — не система идей, но мобилизующий миф. Но мало этого. Тогда потребуется также высокая степень гомогенности населения — не как результат действий, а как их предпосылка. Именно эта гомогенность («советский народ») разрушена теперь развитием последних лет, а на имитируемой гомогенности такой стратегии не построить. Мы не будем говорить о ее социальных и тем более моральных издержках — они известны. Но важно понимать, что она не только опасна, но и нереалистична. Наконец, можно было бы пойти долгим и трудным путем воспитания политического народа в точном смысле этого слова, то есть путем прекращения искусственной политизации и поощрения политизации естественной, произрастающей из всех самоидентификаций и различий, которые только имеют место сейчас. Враждебность различных групп, их соревнование за права и ресурсы никуда не денутся, но если они будут ограничены в интенсивности заданными правилами игры, это может привести к появлению со временем иной культуры политического действия. Это желательный вариант, но считать его вероятным очень и очень трудно. ☞